

# **ГЛАВА I.6**

## **ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ**

*Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов*

### **§ 1. Новая экономическая история, клиометрика и институциональная экономическая история**

Институционализм — научная теория, которая развивается на границах собственно экономической науки и «соседних» общественных наук (см. главу I.1). Она представляет собой либо применение методов этих наук к анализу экономики («старый» институционализм), либо, наоборот, применение экономических методов к анализу проблем этих «соседних» наук. Поскольку одной из важнейших общественных наук является история, то одним из направлений институционализма выступают институциональные теории экономической истории.

#### **1.1. Институционализм в теориях экономической истории**

Развитие институциональной экономической истории отражает общие тренды развития институционализма. В первой половине XX в., в эпоху «старого» институционализма, работали такие ученые, чьи труды имеют среди экономических историков огромную популярность и в наши дни, как М. Вебер, В. Зомбарт, К. Поланьи, Н. Элиас. Все эти обществоведы использовали для изучения экономической истории (главным образом истории генезиса капитализма) социологические методы. Во второй половине XX в. социологический подход к экономической истории продолжал развиваться в концепциях К.-А. Виттфогеля, представителей экономической антропологии (М. Салинз, Е. Сервис) и мир- системного анализа (И. Валлерстайн, Ф. Бродель). Но в 1950-е годы социологический «вызов» породил «ответ» профессиональных экономистов. Речь идет о возникшем в США научном направлении, которое называют новой экономической историей (*new economic history*) и клиометрикой (*cliometrics*). Признанием высокого авторитета этого направления стало присуждение в 1993 г. Дугласу Нортю и Роберту Фогелю, двум его самым выдающимся представителям, Нобелевской премии по экономике.

Хотя выражения «новая экономическая история» и «клиометрика» часто употребляют как синонимичные и причисляют их к институциональной экономической истории, на самом деле они не тождественны.

Выражение «новая экономическая история» появилось в США в 1960-е годы, когда новое направление только начинало приобретать популярность. В наши дни, 40 с лишним лет спустя после рождения<sup>1</sup>, оно уже стало не

вызывающе-новым, а вполне уважаемым научным течением<sup>2</sup>. Поэтому зарубежные ученые в наши дни используют чаще всего термин «клиометрика», количественная экономическая история.

Клиометрику определяют как «применение экономической теории и количественных методов для описания и объяснения исторических процессов и явлений в сфере экономического развития», как соединение идей истории, экономики и статистики (Уильямсон, 1996, с. 76, 78). Чисто логически легко понять, что на стыке этих трех наук могут развиваться самые различные версии экономической истории, во многих отношениях принципиально друг от друга отличающиеся (рис. 1.6.1).

Во-первых, возможно соединение исторической науки со статистикой без участия экономической теории (область 1 на рис. 1.6.1). Это те направления количественной (количественной) истории, которые изучают развитие политических процессов, влияние климата на историю, занимаются контекст-анализом исторических документов, рассматривают долгосрочные мегатренды исторического роста и т.д. Основателями этой версии клиометрики можно считать российских ученых 1920-х годов — А.Л. Чижевского, который открыл количественную корреляцию между циклами солнечной активности и интенсивностью исторических событий («Физические факторы исторического процесса», 1924)<sup>3</sup>, и Н.Д. Кондратьева, доказавшего путем обработки больших баз исторической информации существование «длинных волн конъюнктуры» («Большие циклы конъюнктуры», 1925)<sup>4</sup>. Хотя в России их идеи оказались вплоть до конца 1980-х гг. исключенными из широкого научного дискурса, в зарубежной экономической истории они нашли многих последователей. Можно вспомнить также многочисленные труды по истории национальных счетов — работы А.Л. Вайнштейна, П. Грегори, В.А. Мельянцева и др. (см., например: Вайнштейн, 1960; Gregory, 1982; Мельянец, 1996). Клиометрика без экономики представлена и «поздним» Р. Фогелем, ушедшим в экономическую антропологию (см., например: Fogel, 1994, 2003). В СССР и в постсоветской России наибольшее развитие получила именно эта версия количественной истории (зародившаяся в 1960-е годы, лишь немногим позже американской клиометрики, школа И.Д. Ковальченко<sup>5</sup>). К институционализму все эти течения прямого отношения не имеют.

Во-вторых, возможно соединение истории с экономической теорией без использования инструментов экономико-математического анализа (область 2). Собственно говоря, любая теория экономической истории обязательно опирается на какую-либо парадигму экономики — вовсе не обязательно на институциональную. С. Кузнеца и У. Ростоу не принято причислять к новой экономической истории, но в их работах 1950—1960-х годов также использовались экономические теории (и



**Рис. 1.6.1.** Взаимодействие экономической теории, исторической и статистической наук

1 — количественная (квантитативная) история без экономикс; 2 — теоретическая экономическая история без экономико-математического моделирования; 3 — теоретическая экономическая история с экономико-математическим моделированием; 4 — эконометрика (к клиометрике относятся области 1 и 3, к новой экономической истории — 1, 2, 3)

даже с элементами экономико-математического моделирования) для анализа аспектов экономической истории, связанных с экономическим ростом. В трудах этих ученых нашел отражение кейнсианский подход к экономической истории. Впоследствии он, однако, развития не получил, «новые экономические историки» взяли на вооружение в большей степени идеи и методы неоклассики. Другое дело, что любая экономическая теория, будучи «опрокинутой в прошлое», обязательно подвергается подспудной институционализации. Яркий тому пример — «Теория экономической истории» Д. Хикса (1969) (Хикс, 2003). Написанная для демонстрации позитивных возможностей неоклассической теории (но без математического аппарата), эта работа показала, что экономическая история как Целое не может интерпретироваться без хотя бы упоминания институциональных инноваций (Латов, 2004). Примером сознательного использования институциональной теории для создания целостной картины исторической эволюции практически без клио- метрики являются труды «зрелого» Д. Норта.

В-третьих, возможно сведение воедино используемой для исторического анализа экономической теории и экономико-математических методов (область 3). Именно эта область составляет ядро современной клиометрики. Лидером данного направления является Р. Фогель<sup>6</sup>, «ранний» Д. Норт тоже работал в этой парадигме. Поскольку «мэйнстрим» современной экономической теории образует неоклассика, то в клиометрике тоже доминируют неоклассические идеи<sup>7</sup>. Однако клиометрический инструментарий в наши дни используют и те экономисты, которые

привержены совсем другим концепциям, оппозиционным неоклассике<sup>8</sup>. Любопытно отметить, что органичное соединение экономической теории и математических методов удается клиометрикам далеко не всегда. Подчеркнутое внимание к математическому аппарату часто оборачивается у исследователей ослаблением внимания к собственно экономической теории<sup>9</sup>.

В данной главе мы будем рассматривать институциональную экономическую историю в двух ее модификациях — «фогелевской» и «нортовской»<sup>10</sup>. Различия между ними основаны на том, что если клиометрики во главе с Р. Фогелем делают акцент на новых для историков приемах *экономико-математического анализа*, то последователи «зрелого» Д. Норта делают акцент на применении принципиально нового для историков неинституционального *понятийного аппарата* (права собственности, транзакционные издержки и т.д.). Таким образом, «нортовская» экономическая история имманентно институциональна. Что же касается «фогелевской» экономической истории, то она непосредственно институциональной не является, но допускает институциональную интерпретацию. «Фогелевский» подход является более ранним, «нортовский» — более поздним

## **1.2. Институциональные аспекты «фогелевской» новой экономической истории (на примере экономического анализа рабства)**

Новая экономическая история на начальном этапе (примерно до 1980-х годов) развивалась как «заговор молодых технарей против уважаемых ученых» (Williamson, 1994, p. 114). «Молодые технари» начали активно использовать компьютерный анализ в исторической статистике. Основными темами для них стали почти исключительно вопросы экономической истории США XIX в.: экономика рабства на Юге до Гражданской войны, транспортная революция второй половины XIX в., формирование национального рынка труда, экономические кризисы.

Чтобы лучше понять «блеск и нищету» американской клиометрики, остановимся подробнее на изучении экономики рабства, поскольку в этом вопросе, когда речь идет о конкуренции национальных моделей экономического развития, необычайно важен учет именно институциональных аспектов.

Еще в первой половине XX в. в американской историографии сложилось два полемизирующих друг с другом подхода к анализу экономики рабства и его последствий. Одни экономисты обращали основное внимание на «провалы» рабовладельческой системы и на незавершенность эмансипации рабов, другие — на эффективность экономики рабовладельческого Юга и на разрушительные последствия ее неудачного реформирования. «Критики Юга» трактуют его как аграрное неорабовладельческое общество, «защитники Юга» — как своеобразную разновидность капитализма. Роль «защитников» с 1950-х годов взяли на себя как раз представители клиометрики".

Свой вклад в клиометрический анализ экономики американского рабства внес и Д. Норт. В своей книге «Рост и благосостояние в американском прошлом: новая экономическая история» (North, 1966) он обратил особое внимание на ускоренное социально-экономическое развитие рабовладельческого Юга. Используя методы экономико-математического анализа, Д. Норт подверг критике господствовавшее ранее мнение, будто хозяйство предвоенного Юга было убыточным и застойным. Он подчеркнул, напротив, что само по себе плантационное рабство вовсе не вело ни к упадку предпринимательской деятельности, ни к уменьшению производственных инвестиций.

Еще большую известность завоевала монография Р. Фогеля и С. Энгермана «Время на кресте» (Fogel, Engerman, 1974), которая подытожила аргументы об экономической эффективности рабства, став своеобразным манифестом «защитников Юга» и вызвав бурную дискуссию. Ее называют наиболее спорной книгой, когда-либо написанной об американском рабстве, но одновременно и оказавшей самое сильное влияние на современные научные воззрения по данной проблеме. В этой монографии клиометрический подход к рабству получил наиболее комплексное выражение.

Одно из главных открытий Р. Фогеля и С. Энгермана — доказательство высокой сравнительной эффективности рабовладельческих хозяйств Юга, превосходящей эффективность свободных от рабского труда форм хозяйствования.

Методологической проблемой, которую необходимо разрешить для сравнения рабовладельческих и нерабовладельческих хозяйств, было их разное ресурсное обеспечение. Типичная рабовладельческая плантация имела гораздо больше земли, физического капитала и работников, чем средняя нерабовладельческая ферма, а потому непосредственно сравнивать их эффективность нельзя.

Чтобы оценить относительную эффективность хозяйств, Фогель и Энгерман использовали индекс «полной производительности фактора» (*total factor productivity*), который измерял выпуск (*output*) на среднюю единицу ресурса (*input*) для каждого типа сельскохозяйственных предприятий. Чтобы проанализировать производительность факторов производства, они воспользовались функцией Кобба—Дугласа

$$Q = AL^{\alpha}LK^{\beta}\Gamma^{\gamma},$$

где  $Q$  — производство;  $L$  — затраты труда;  $K$  — затраты физического капитала (машин и др.);  $\Gamma$  — затраты земли.

В этой формуле показатели  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  отражают пропорцию влияния на выпуск каждого из факторов.

Результаты обработки баз данных по этой методике привели авторов «Времени на кресте» к очень любопытным количественным оценкам (табл. 1.6.1), на основе которых Р. Фогель и С. Энгерман сформулировали следующие выводы:

• В 1860 г. сельское хозяйство Юга в целом было на 35% эффективнее (если рассматривать выпуск при одинаковом количестве ресурсов), чем сельское хозяйство Севера.

• Использувавшие труд рабов южные фермы были на 28% более производительны, чем южные нерабовладельческие фермы, и на 40% более производительны, чем северные нерабовладельческие фермы.

• Основанные на свободном труде фермы Старого Юга имели ту же производительность, что и свободно-трудовые фермы Севера. Сельское хозяйство с использованием рабов на Старом Юге было на 19% более производительно, чем свободно-трудовые фермы Севера, а сельское хозяйство с использованием рабов на Новом Юге<sup>12</sup> — на 53% более производительно, чем северное свободно-трудовое сельское хозяйство.

Таблица 1. 6. 1

**ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ  
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, 1860 Г.**

| Регионы   | Использован<br>ие свободного<br>труда | Использован<br>ие рабского<br>труда | В целом |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Север     | 1,00                                  |                                     | 1,00    |
| Юг        | 1,09                                  | 1,40                                | 1,35    |
| Старый Юг |                                       | 1,19                                |         |
| Новый Юг  |                                       | 1,53                                |         |

Преимущества рабовладельческих хозяйств, по мнению авторов «Времени на кресте», отчасти связаны с эффектом экономии на масштабе, с преимуществами крупного производства над мелким, причем этот эффект наиболее сильно влиял на хозяйства средних размеров, использовавших 15—50 рабов. Но южные плантаторы очень умело использовали также универсальные для рыночного хозяйства преимущества разделения труда, специализации и кооперации. Они сознательно стремились добиться дисциплинированного и скоординированного использования рабочей силы негров-рабов, организуя их труд наподобие сборочной линии в промышленности. Это достигалось высоким уровнем разделения труда внутри «черных бригад», работавших под надзором квалифицированных надсмотрщиков из числа самих рабов, которые подобно бригадирам следили за поддержанием высокого темпа производства.

Книга «Время на кресте» послужила катализатором для большого количества последующих клиометрических исследований по экономике рабства. В конечном счете большинство выводов Р. Фогеля и С. Энгермана оказались принятыми научным сообществом<sup>13</sup>. Сам Р. Фогель подвел итоги этого направления своих исследований в книге «Без согласия и контракта» (Fogel, 1989), где сформулировал вывод, что причиной Гражданской войны была вовсе не экономическая неэффективность рабства, а моральное неприятие свободолюбивыми американцами института рабства как системы насилия и угнетения.

Результаты клиометрических исследований «защитников Юга» наглядно показывают не только творческий потенциал нового научного течения, но и его ограниченность.

Исследования Р. Фогеля и его сторонников прямо никогда не подчеркивают своей связи с институциональной традицией: ведь клиометрики «молятся» числам, а «старый» институционализм, наоборот, возник как протест против экономико-математического формализма. Однако объективно «защитники Юга» доказали как раз необычайно высокое значение институциональных, неэкономических факторов экономической истории. Ведь согласно их выводам, влияние моральных норм перевесило чисто экономическую рациональность, поскольку-де американцы разрушили эффективный рабовладельческий уклад под влиянием преимущественно нравственных побуждений. Таким образом, подспудно клиометрические исследования экономики рабства служат очень весомым аргументом экономистам-институционалистам.

Однако отказ от сознательного использования институционального подхода часто играет с клиометриками «фогелевского» направления злую шутку. Один из важнейших принципов институционализма — установка на комплексный подход — клиометриками не воспринимается, в результате чего их многочисленные яркие «находки» не всегда складываются в достоверную целостную картину.

В частности, среди причин Гражданской войны наиболее важную роль сыграл, видимо, геоэкономический фактор: различия между Севером и Югом угрожали целостности Соединенных Штатов как единого государства, а «парад суверенитетов» неминуемо понижает национальную экономическую эффективность. Поэтому признание эффективности экономики рабства совсем не обязательно связывать с «высокой моралью» американцев; отмена рабства, скорее, делает честь их умению соразмерять краткосрочные потери и долгосрочные выгоды. Однако такой интегральный, «политэкономический» подход в рамках собственно неоклассического «мэйнстрима» вряд ли возможен.

Самое главное, глубокое понимание института рабства в эпоху Нового времени возможно лишь путем взгляда на него «с высоты» — как частного случая неотрадиционных экономических отношений. Клиометрики часто сравнивают американское рабство с рабством в других странах Америки, подчеркивая более гуманный характер американского рабовладения (только в Соединенных Штатах численность рабов устойчиво росла за счет естественного прироста). Однако комплексной теории временной регенерации в эпоху генезиса капитализма архаичных форм эксплуатации (включая «второе издание крепостничества» в Восточной Европе, «второе издание восточного деспотизма» в колониях) так пока и не создано.

Эта негативная особенность «фогелевской» новой экономической истории, использование экономико-математических методов *ad hoc* при отсутствии целостной теории, вполне сохранилась и даже усилилась в 1980—2000-е годы. Как указывает С.А. Ломова, «несмотря на то, что клиометристы пересмотрели большое количество общепринятых концепций в экономической истории, они были не всегда удачливы в создании новых

концептуальных и теоретических построений» (Ломова, 1997, с. 129). Можно полностью согласиться с мнением, что «для новых историко-экономических теорий необходим сильный прорыв за пределы неоклассической теории» (Там же, с. 130), которая имманентно предназначена для изучения уже возникшего рыночного хозяйства, а не его генезиса и трансформации.

Первым клиометриком, кому удалось уже в 1970-е годы перейти от изучения отдельных «деревьев» к анализу «леса», стал Д. Норт.

### **1.3. Теория институциональных изменений Д. Норта**

Начав, как и Р. Фогель, с клиометрических исследований транспортной революции и рабства в США XIX в., Д. Норт уже в 1970-е годы предпринял попытки создания целостной теории новой экономической истории. Первым опытом создания макротео-рии стала написанная совместно с Р. Томасом книга «Возвышение западного мира: новая экономическая история» (North, Thomas, 1973).

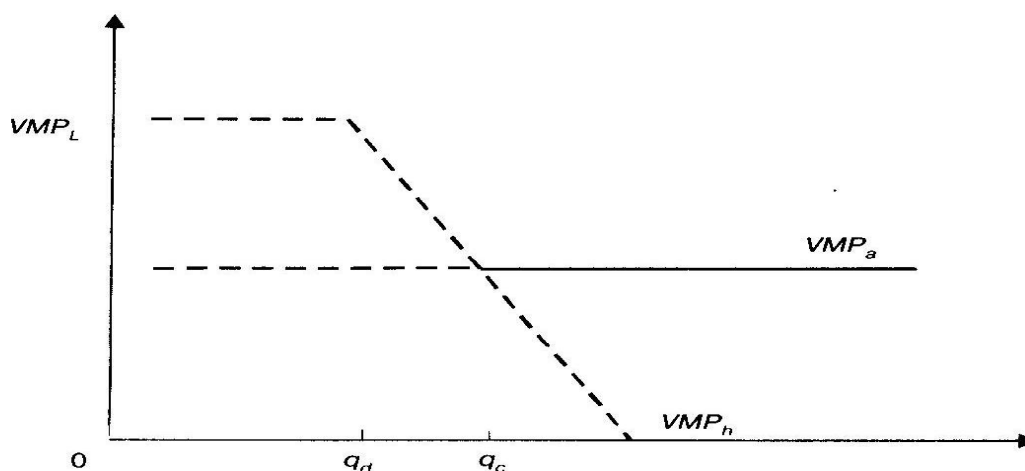
В своей концепции экономического прогресса Д. Норт и Р. Томас базировались на идеях А. Смита о разделении труда как главном факторе и глубинном источнике экономического роста. Чтобы стимулировать развитие разделения, необходимы такие предпосылки, как инвестиции и инновации. Однако почему в одном случае инвестиции и новации сыграли свою роль, а в другом — нет? По мнению авторов «Возвышения западного мира», это зависит как раз от институтов, понимаемых как совокупность принятых в обществе «правил игры». Институциональная структура эффективна там и тогда, где она обеспечивает условия быстрого экономического роста, что, в свою очередь, зависит прежде всего и главным образом от системы прав собственности (North, Thomas, 1973, p. 2).

Яркой иллюстрацией этого тезиса является неолитическая революция. В первобытном обществе господствовала общая собственность, при которой доступ к редким ресурсам (охотничьим угодьям, местам рыбной ловли) был открыт всем без исключения. Это означает, что существует общее право на использование до захвата и индивидуальное право на использование ресурса после его захвата. Коллективная собственность поощряла такое поведение, когда выгоды от него достаются одному участнику, а издержки — всем, или такое поведение, когда издержки ложатся на одного, а выгоды делятся между всеми. В результате каждый заинтересован в хищническом потреблении ресурсов общего доступа «здесь и сейчас», без заботы о воспроизводстве. В результате возникает хорошо знакомая экономистам трагедия общей собственности.

Пока природные ресурсы были изобильны, трагедия общей собственности не являлась проблемой. Однако их истощение из-за роста населения привело примерно 10 тыс. лет тому назад к первой в истории революции в производстве и в институтах. Неолитическая революция в интерпретации предложившего этого понятие Г. Чайлда связывалась с переходом от присваивающего хозяйства (охоты и собирательства) к производящему хозяйству (регулярному земледелию и одомашниванию животных). Позже, когда антропологи открыли существование



позднепервобытных и даже раннеклассовых обществ с присваивающим хозяйством, неолитической революцией стали называть переход к любым способам систематического производства избыточного продукта. Д. Норт и Р. Томас пошли еще дальше и предложили считать главным содержанием Первой экономической революции (как они назвали неолитическую революцию) появление элементов частной собственности, закрепляющей исключительные права индивида, семьи, рода или племени на редкие ресурсы. Преодоление трагедии общей собственности позволило остановить падение предельного продукта труда (рис. 1.6.2), стабилизировало его.



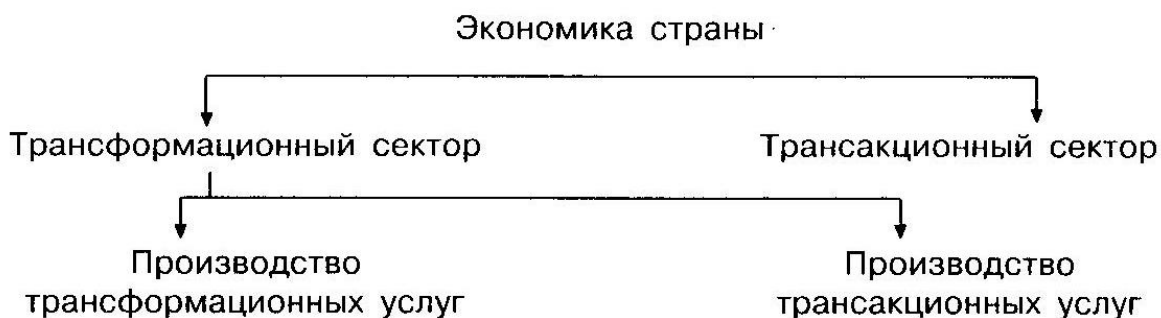
**Рис. 1.6.2.** Первая экономическая революция (по Д. Норту)

$VMP_h$  — ценность предельного продукта от охоты;  
 $VMP_a$  — ценность предельного продукта от сельского хозяйства;  
 $VMP_L$  — ценность предельного продукта труда

Приоритетное внимание к изменениям прав собственности в истории общества привело Д. Норта к изучению долгосрочной динамики масштабов деятельности по защите прав собственности.

Поскольку эффективные институты возникают в обществе, которое имеет сильные стимулы к созданию и закреплению прав собственности, то показателем потенциальных возможностей прогрессивного развития является степень развитости деятельности по спецификации прав собственности. Исходя из этих соображений, Д. Норт предложил разделить все виды экономической деятельности на трансформационный сектор, занятый изменением физических свойств продуктов (скажем, производством хлеба из зерен или бензина из нефти), и транзакционный сектор, обеспечивающий спецификацию прав собственности (рис. 1.6.3). К транзакционному сектору он отнес не только деятельность государственных служащих (полиция, суды), но и оптовую и розничную торговлю, страхование, банковское дело и т.д. Кроме того, транзакционные услуги создаются и внутри трансформационного сектора (работниками из аппарата управления —

юристами и бухгалтерами, занятыми в фирмах, где производятся материальные блага)



**Рис. 1.6.3.** Структура экономической деятельности по Д. Норту

Проведенное совместно с Д. Уоллисом клиометрическое исследование позволило Д. Норту констатировать ярко выраженную тенденцию к росту как абсолютных, так и относительных масштабов трансакционного сектора (табл. 1.6.2): за столетие после 1870 г. он вырос в США вдвое, превысив к 1970 г. более половины всего ВВП (см. также главу 1.3, § 6). Данный вывод является уточнением подмеченного «постиндустриалами» еще в 1960-е годы сдвига от доминирования первичного и вторичного секторов к первенству третичного сектора, сферы услуг.

Новый подход к пониманию структурных сдвигов в экономике развитых стран позволил Д. Норту продолжить в монографии «Структура и изменение в экономической истории» (North, 1981) переосмысление предложенной Д. Беллом и его последователями типологии основных фаз развития общества.

Таблица 1.6.2

**РОСТ ТРАНСАКЦИОННОГО СЕКТОРА В ВВП США, 1870-1970  
ГГ., %**

| Годы | Частный трансакционный сектор | Государственный трансакционный сектор | Все го |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1870 | 22,49                         | 3,60                                  | 26,09  |
| 1920 | 35,11                         | 4,87                                  | 39,98  |
| 1970 | 40,81                         | 13,90                                 | 54,71  |

В теории постиндустриального общества, как известно, главными вехами всемирного социально-экономического развития являются индустриальная и научно-техническая революции. У Д. Норты вместо них фигурируют Первая и Вторая экономические революции. Первая революция, как уже указывалось, соответствует неолитической революции, которую сторонники теории постиндустриального общества почти не замечают<sup>14</sup>. Что касается Второй революции, то она у Д. Норты совсем не тождественна ни промышленному перевороту, ни НТР. Промышленную революцию Д. Норт считает не радикальным разрывом с прошлым, а лишь кульминацией

предшествующего эволюционного развития. Подлинная же революция, по его мнению, началась лишь с середины XIX в. Именно в это время происходит систематическое соединение производства с наукой, сопряженное с усилением правовой защиты инноваций и конкуренции (законы о патентной защите, о коммерческой тайне, об организации акционерного бизнеса и т.д.). «Если Первая экономическая революция создала сельское хозяйство и «цивилизацию», — пишет Д. Норт, — то Вторая экономическая революция обеспечила производство все возрастающими новыми знаниями, возведя экономический рост в систему за счет брака науки и технологии...» (Цит. по: Борисов, 2001).

Вершиной теории новой экономической истории Д. Норта в настоящее время является изданная в 1990 г. монография «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» (Норт, 1997). В этой книге он завершает переосмысление самого понятия «институты». Ранее их трактовали главным образом как совокупность организационных структур. Новая же книга Д. Норта начиналась с чеканной формулировки: «Институты — это «правила игры» в обществе, или... созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» (Норт, 1997, с. 17). Если ранее он обращал основное внимание на влияние институтов на изменение производства, то теперь в центре его внимания оказались проблемы изменения самих институтов. Кроме того, в новой книге он обратил особое внимание на устойчивость неэффективных норм, которые далеко не всегда отмирают «сами собой» под влиянием более эффективных «правил игры».

Новая экономическая история Д. Норта убедительно свидетельствует, что для создания целостной теории экономической истории не обязательно использовать клиометрику (в теоретических трудах «зрелого» Д. Норта вообще нет ни одной формулы), но обязательно вести диалог (хотя бы и полемический) с традицией «старого» институционализма<sup>15</sup>. Д. Норт в своем анализе институциональных изменений как раз соединил обе традиции: как представитель «нового» институционализма он делает акцент на большом значении правовых институтов, прав собственности; как ученый, испытавший влияние «старого» институционализма, он подчеркивает, что натрансакционные издержки сильно влияют не только формальные, но и неформальные ограничения.

Перейти от изучения отдельных проблем экономической истории к созданию ее теории удалось далеко не всем представителям новой экономической истории. Тех историков-экономистов, кто, помимо Д. Норта, демонстрирует не только клиометрические навыки, но и теоретическое мышление, можно пересчитать по пальцам — это Грэм Снукс (Snooks, 1993; Snooks, 1996; Snooks, 1998), Авнер Грейф (Greif, 2001), Дайрде (Дональд) Мак-Клоски (McCloskey, 1987)... Как и у Норта, теория экономической истории также приобретает у них институциональный характер.

В России первым опытом новой экономической истории в «нортовской» традиции является статья С.Н. Ковалева и Ю.В. Латова, посвященная экстернальным эффектам помещичьих хозяйств в дореволюционной России (Ковалев, Латов, 2000).

Опираясь на малоизвестные работы дореволюционных экономистов, авторы этой статьи сделали вывод о более низкой продуктивности крестьянских хозяйств в сравнении с помещичьими. Поскольку значительная часть доходов крестьян являлась оплатой их труда в помещичьих экономиках. Получается, что в борьбе за «черный передел» крестьяне добивались снижения своих доходов. С.Н. Коватев и Ю.В. Латов предложили искать объяснение данного парадокса в характерном для России двоеправии, когда обычное право решительно расходилось с официальным правом и принципах защиты прав собственности. Это формировало у крестьян ошибочное представление о сравнительной эффективности борьбы за передел собственности и борьбы за повышение продуктивности своих хозяйств. Побочным результатом этого исследования стало расширение трактовки отрицательных экстерналий эффектов, которыми могут быть не только чисто физические неудобства, но и, как в данном случае, негативное влияние на трудовую этику.

Очень слабый резонанс «нортовской» парадигмы в России связан, видимо, с тем, что она требует сочетания знания исторической конкретики с глубокими познаниями в экономической теории, что для отечественных историков пока еще не совсем типично.

Трактовка институтов как сознательно и/или стихийно складывающихся «правил игры» естественным образом ставит вопрос о том, как и почему эти правила меняются. Сторонники новой экономической истории делают акцент на сознательном выборе норм, на институциональном конструировании и экспорте институтов. Но есть и другая сторона проблемы изменчивости институтов. Речь идет об институциональной инерции.

## **§ 2. Теория зависимости от траектории предшествующего развития**

### **2.1. Рождение теории зависимости от предшествующего развития**

Наряду с теорией новой экономической истории Д. Норта есть и другой — близкий, но относительно самостоятельный — теоретический институциональный подход к экономической истории. Речь идет о возникшей в 1980-е годы теории зависимости от предшествующего развития (*Path Dependency*), основы которой заложены американскими экономистами-историками Полом Дэвидом и Брайаном Артуром. Поскольку «фогелевское» и «нортовское» направления называют теориями новой экономической истории, то это более позднее научное течение можно считать «новейшей» экономической историей.

Название теории «*Path Dependency*» принято в отечественной литературе переводить как «зависимость от предшествующего развития»<sup>16</sup>. Она тоже обращает внимание на институциональные изменения и на роль институтов в технических изменениях. Однако если в «нортовской» новой экономической истории главный акцент сделан на том революционизирующем влиянии, которое оказывают правовые инновации и изменение трансакционных издержек на социально-экономическое развитие,

то в теории зависимости от предшествующего развития основное внимание обращается на инерционность развития. Иначе говоря, если последователи Д. Норта изучают, *как становятся возможны институциональные инновации*, то последователи П. Дэвида и Б. Артура, наоборот, — на то, *почему институциональные инновации далеко не всегда возможны*. Кроме того, если Д. Норт при изучении институтов акцентирует внимание на правах собственности, то П. Дэвид и Б. Артур — на неформальных механизмах выбора.

Поскольку оба эти аспекта связаны друг с другом, как орел и решка, то происходит интенсивное взаимодействие и взаимообогащение этих двух институциональных теорий экономической истории. Характерно, что Д. Норт в своей книге «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» очень оперативно откликнулся на только-только начавшие приобретать популярность идеи «новейших экономических историков» и включил их в свою концепцию как один из ключевых ее компонентов.

История теории «*Path Dependency*» началась в 1985 г., когда П. Дэвид опубликовал небольшую статью (David, 1985), посвященную такому, казалось бы, мелкому вопросу, как формирование стандарта клавиатур печатающих устройств.

Когда в 1868 г. в США изобрели печатную машинку, то первоначально ее клавиши располагались в два ряда, на которых были последовательно изображены буквы от *A* до *Z*. Однако первые модели печатных машинок, выпускаемые с 1874 г. фирмой «Ремингтон», работали так, что при быстром последовательном нажатии на две соседние клавиши они цеплялись одна за другую, останавливая работу. Тогда изобрели другой вариант клавиатуры, где самые часто встречающиеся двухбуквенные комбинации были разнесены по разным краям. В середине 1870-х годов появилась та самая *QWERTY*-клавиатура, которая довольно быстро стала всеобщим стандартом. Авторство *QWERTY*-стандарта приписывают тому же, кто изобрел саму печатную машинку, — американцу К. Шоулзу. Таким образом, *QWERTY*-клавиатура появилась в силу временных и в общем случайных технических обстоятельств. Уже два десятилетия спустя печатные машинки были настолько усовершенствованы, что сцепление клавиш стало невозможным, но *QWERTY*-клавиатура так и осталась монопольным стандартом.

Научное изучение оптимальных принципов расположения клавиш печатающих устройств привело к тому, что в 1936 г. А. Дворак, последователь тейлоризма, запатентовал принципиально новую раскладку клавиатуры. Хотя эксперименты показали, что клавиатура Дворака эффективнее *QWERTY*-клавиатуры на 20—40%, массового распространения новый стандарт так и не получил. Высказывалось мнение, будто эти эксперименты были подтасованы, а потому преимущество клавиатуры Дворака перед клавиатурой Шоулза является мнимым (Liebowitz, Margolis, 1990). Однако сторонники новой раскладки свидетельствуют, что после ее установки на компьютерах (технически это сделать сейчас довольно легко) через пару месяцев, когда пользователь полностью осваивает новую клавиатуру, скорость набора текстов действительно заметно возрастает.

Самое интересное, что клавиатура Дворака тоже не является самой совершенной — были предложены и другие, еще более эффективные. Но, несмотря на все инновационные предложения, новые клавиатуры появляются только у немногих, абсолютное же большинство по-прежнему пользуется *Q W E R T Y*-клавиатурой.

Заинтересовавшись проблемой, почему заведомо неэффективный стандарт умудряется сохранять свою монополию в течение полувека, П. Дэвид обнаружил еще более интригующие обстоятельства. Оказывается, уже в 1870-е годы в Америке использовались весьма разнообразные схемы клавиш, в том числе и превосходившие *Q W E R T Y-crawxapr*. Однако затем это разнообразие исчезло, на рубеже XIX—XX вв. почти все производители перешли к клавиатурам типа *Q W E R T Y*.

Свое объяснение загадки *Q W E R T Y* Дэвид дал следующим образом (см.: David, 1986). Чтобы понять, что же произошло в последние десятилетия XIX в., «экономист должен обратить внимание на тот факт, что пишущие машинки начинали становиться элементом большой, довольно сложной производственной системы... Эта система включала как работающих на пишущих машинках операторов, так и механизмы машинописи, и поэтому в число принимающих решение агентов, помимо изготовителей и покупателей пишущих машинок, входили также машинистки, предлагавшие предпринимателям свою квалифицированную рабочую силу, а также разнообразные организации, частные и общественные, занимавшиеся обучением людей навыкам машинописи... Эта крупная производственная система не была чьим-либо проектом», она складывалась стихийно. Доминирование *Q W E R T Y* объясняется тем, что сработали спонтанные эволюционные процессы «технической взаимосвязанности, экономии от масштаба и квазинеобратимости инвестиций. Эти элементы образуют основу того, что можно назвать *Q W E R T Y-НОМИКОЙ (Q W E R T Y-nomics)*».

Указанные П. Дэвидом факторы ведут к тому, что стихийно из множества конкурирующих стандартов побеждает какой-то один, и возврат к многообразию стандартов становится практически невозможным. Возникает необратимая обратная связь (*feedback effect*). Б. Артур назвал это явление «*lock-in tendency*» (Arthur, 1989; см. также: Arthur, 1994)<sup>17</sup>, что лучше всего перевести как «эффект блокировки»: происходят необратимые изменения только в одном направлении. Таким образом, неизбежна победа какого-то одного стандарта, но нет объективной закономерности в том, какой именно стандарт окажется победителем. Здесь огромную роль играет «историческая случайность», которая где-то в начале изучаемого процесса может определить всю последовательность дальнейших событий.

Следует учитывать, что в ситуации неопределенности очень велико значение ожиданий людей. «Специфическая система могла одержать победу над конкурентами просто потому, что покупатели ожидали этой победы, — писал П. Дэвид. — Таким образом, хотя раннее лидерство, приобретенное *Q W E R T Y*-стандартом благодаря его изначальной ассоциации с Ремингтоном, было довольно шатким, но когда возросли ожидания его превосходства, это оказалось достаточной гарантией того, что в конечном счете победит именно *Q W E R T Y*-стандарт». Рост же ожиданий может

оказаться следствием весьма мелких событий. В истории с победой *QWERTY*-эффекта роль исторической случайности, которая оказала решающее влияние на ожидания, сыграл, скорее всего, маркетинговый трюк, примененный производителями «ремингтонов». 25 июля 1888 г. в Цинциннати прошло показательное соревнование Ф. МакГарина с Л. Таубом: МакГарин печатал на «ремингтоне», а Тауб — на каллиграфе. На машинке победившего в состязании МакГарина была как раз *QWERTY*-клавиатура. МакГарин стал «героем дня», а рекламируемый им «ремингтон» с *QWERTY*-клавиатурой начал пользоваться огромной популярностью.

История победы *Q W E R T Y*- кл авиатуры над более эффективными стандартами может показаться в контексте глобальной экономической истории чем-то мало значимым. Однако изучение экономической истории технических стандартов, начатое после пионерных работ П. Дэвида и Б. Артура, показало необычайно широкое распространение *QWERTY*-эффектов едва ли не во всех отраслях. Поэтому вопрос о том, является ли на самом деле *Q W E R T Y*- кл а в и а т у р а худшей в сравнении с клавиатурой Дворака или открытие *QWERTY*-эффекта произошло в результате неправильной интерпретации реальных исторических обстоятельств, уже совершенно не существен<sup>18</sup>.

## **2.2. От *QWERTY*-номики — к экономической теории стандартов и альтернативной экономической истории**

Под *QWERTY*-эффектами в современной научной литературе подразумевают все виды сравнительно неэффективных, но устойчиво сохраняющихся стандартов, которые демонстрируют, что «история имеет значение». Эти эффекты можно обнаружить двумя путями:

- 1) либо сравнивать *реально сосуществующие* в современном мире технические стандарты,
- 2) *либо сопоставлять реализованные технические инновации с потенциально возможными, но не реализованными.*

Хотя современная экономика давно глобализируется и унифицируется, в разных странах мира продолжают сохраняться разные технические стандарты, не совместимые друг с другом. Некоторые примеры общеизвестны — например, различия между левосторонним (в бывшей Британской империи) и правосторонним движением на дорогах разных стран, что заставляет одних автопроизводителей ставить на машины руль слева, а других — справа. Другие примеры менее известны, как, скажем, различия в ширине железнодорожной колеи или в стандартах передачи электроэнергии.

Ширина колеи железных дорог в разных странах и в различные эпохи варьировалась в очень широком диапазоне от 184 до 3000 мм. Основными современными стандартами являются следующие три: 1067 мм — «Капская колея» (Япония, ЮАР, Австралия, в России на Сахалине, во многих странах «третьего мира»), 1435 мм — «Европейская (Стефенсоновская) колея» (более половины железных дорог мира), 1520—1524 мм — «Русская колея» (в большинстве постсоветских государств, а также в Монголии, Финляндии).

Результат этих различий наглядно ощущается, например, при пересечении нашей западной границы, где все поезда задерживаются для смены колесных пар.

Является ли европейская колея технически наиболее эффективной? Вовсе нет — инженеры считают более предпочтительной широкую колею. Европейский стандарт колеи стихийно сложился на начальных моментах развития железнодорожного транспорта. Когда в 1825 г. знаменитый английский инженер Джордж Стефенсон завершал изобретение паровоза, он для простоты технического воплощения взял для него стандарты английских гужевых повозок, в том числе ось с расстоянием между колесами в 4 фута 8,5 дюйма. Стефенсон использовал этот шаблон при строительстве открытой в 1830 г. первой в мире железной дороги Ливерпуль- Манчестер, которая послужила образцовой моделью для строительства железных дорог не только в Англии, но и в континентальной Европе и Северной Америке. Между тем известно, что конкуренты Стефенсона по контракту предлагали принять шаблон колеи в 5 футов 6 дюймов (1676 мм). Если бы заказ выиграли конкуренты Стефенсона, общепринятый шаблон железнодорожной колеи мог бы оказаться совсем иным.

Когда в России начинали создавать собственную железнодорожную сеть, то мы «пошли своим путем» — выбрали более широкую колею в 5 футов, которая обеспечивала большую пропускную способность, но затрудняла пересечение европейской границы. Оба эти фактора играли положительную роль для боеготовности к войне с европейскими странами, но бесполезны или даже вредны в современных условиях.

Быть может, *QWERTY*-эффекты возникали только на относительно ранних этапах экономической истории? Нет, они проявляют себя и в эпоху НТР. В качестве примеров приводят формирование стандартов телевизионного оборудования (550-линейный стандарт в США в сравнении с лучшим 800-линейным в Европе), видеокассет и компакт-дисков (победа стандарта *VHS* над *BETA*) (см.: Arthur, 1990), развитие рынка программного обеспечения (победа *DOS/WINDOWS* над *Macintosh*) (см.: Liebowitz, Margolis, 2000) и т.д.

В сравнении с изучением соревнования разных стандартов несколько более умозрительным, но и более многообещающим является анализ «несостоявшейся экономической истории». Речь идет о том, что, по мнению многих историков-экономистов, некоторые победившие из-за конъюнктурных обстоятельств технические инновации перекрыли другие, потенциально более эффективные пути развития.

Идея сравнения эффективности реально осуществившихся и потенциально возможных технологических стратегий впервые была высказана еще в опубликованной в 1964 г. скандально известной книге Р. Фогеля «Железные дороги и экономический рост Америки» (Fogel, 1964).

Традиционно считалось, что именно железнодорожное строительство являлось одним из «локомотивов» быстрого экономического роста Америки XIX в. Фогель попытался проверить на языке цифр привычные оценки транспортной революции. Он построил контрфактическую модель — как бы развивались США, если вместо «железных коней» ее просторы продолжали



бороздить дилижансы и пароходы. В этой модели он рассмотрел влияние железнодорожного строительства не только на объем перевозок, но и на развитие сопряженных отраслей (производство рельсов и шпал, добыча угля и т.д.). Результаты математических расчетов получились весьма парадоксальными: вклад железнодорожного строительства оказался крайне малым, равным национальному продукту всего за несколько месяцев (в 1890 г. ВВП США был бы ниже примерно на 5%). Выбранная американцами технологическая стратегия — железные дороги вместо дилижансов и пароходов — оказалась в сравнении с альтернативной более эффективной, но в гораздо меньшей степени, чем это казалось ранее.

Вокруг книги Р. Фогеля немедленно разгорелась шумная дискуссия (см.: Промахина, 1975; Левчик, 1989). Критики справедливо указывали, что точность подсчетов Фогеля очень условна, поскольку трудно достоверно измерить то, чего не было. Самое главное, модель Р. Фогеля абстрагировалась от некоторых очень важных качественных изменений, инициированных строительством железных дорог, — в частности, от того, что ускорение перевозок сделало возможным производство новых товаров, которых иначе бы производить не стали. Результатом этой дискуссии стало то, что сам Р. Фогель резко сменил направление своих исследований, переключившись с проблем транспортной революции на вопросы экономики рабства и перестав делать акцент на «альтернативной истории». Но его опыт оказался воспринятым. П. Дэвид и другие «QWERTY-экономисты» хотя и не пытаются количественно оценить альтернативные технологические стратегии, но широко используют качественное сравнение реального с потенциально возможным. Более того, если Р. Фогель признавал, что в реальной истории победил все же наиболее эффективный вариант, то последователи П. Дэвида допускают возможность победы как раз неэффективных вариантов.

Один из примеров подобного рода — это история атомной энергетики (Cowan, 1990). Современный «мирный атом» является, в сущности, побочным продуктом холодной войны, поскольку первые атомные электростанции 1950—1960-х годов были призваны прежде всего показать возможность мирного использования технологий, изначально предназначенных для военных целей. В результате в американской атомной промышленности практически на 100% доминировали реакторы на легкой воде, которые являлись адаптированным вариантом реактора атомной подлодки. Ряд конъюнктурных условий, в частности ключевая роль ВМФ США в контрактах на строительство АЭС, политическая целесообразность завоевания общественной поддержки атомным разработкам, способствовал принятию в качестве стандарта именно реакторов на легкой воде. Есть мнение, что альтернативные проекты гражданских ядерных реакторов (например, газоохлаждаемый реактор), не связанные генетически с военными технологиями, могли оказаться более эффективными.

Теория зависимости от предшествующего развития и близкие к ней научные исследования по альтернативной истории основаны не на неоклассическом экономике (как «фогелевская» новая экономическая история), а на метанаучной парадигме синергетики, связанной с идеями

известного бельгийского химика Ильи Пригожина (тоже Нобелевского лауреата), создателя теории самоорганизации порядка из хаоса<sup>19</sup>. Согласно разработанному им синергетическому подходу, развитие общества не является жестко predetermined (по принципу «иного не дано»). На самом деле наблюдается чередование периодов эволюции, когда вектор развития изменить нельзя (движение по аттрактору), и точек бифуркации, в которых возникает возможность выбора. Когда «*QWERTY-ЭКОНОМИСТЫ*» говорят об исторической случайности первоначального выбора, они рассматривают как раз бифуркационные точки истории — те ее моменты, когда происходит выбор какой-либо одной возможности из веера различных альтернатив. Выбор в таких ситуациях практически всегда происходит в условиях неопределенности и неустойчивости баланса социальных сил. Поэтому при бифуркации судьбоносными могут оказаться даже совсем мелкие субъективные обстоятельства — по принципу «бабочки Брэдли».

Итак, после многочисленных исследований *QWERTY*-эффектов историки-экономисты с изумлением обнаружили, что многие окружающие нас символы технического прогресса приобрели хорошо знакомый нам облик в результате, в общем-то, во многом случайных обстоятельств и что мы живем вовсе не в лучшем из миров.

### **2.3. От *QWERTY*-номики — к экономической теории *Path Dependency***

Самое главная из новых идей, предложенных в развитие первоначальной концепции П. Дэвида, заключается в том, что победу изначально выбранных стандартов/норм над всеми другими, даже сравнительно более эффективными, можно наблюдать не только в истории развития технологий, но и в истории развития институтов. В 1990-е годы появилось немало исследований, включая работы самого Дугласа Норта, развивающих это новое направление использования *QWERTY-подхода*. Английский ученый Д. Пуфферт прямо заявил, что «зависимость от предшествующего развития для институтов, вероятно, будет вполне подобна зависимости от предшествующего развития для технологий, по скольку обе основаны на высокой ценности адаптации к некоей общей практике (какой-либо технике или правилам), так что отклонения от нее становятся слишком дорогостоящими» (Puffert, 2003a; см. также: David, 1994).

Если при описании истории технических инноваций чаще пишут о *QWERTY*-эффектах, то в рамках анализа институциональных инноваций обычно говорят о *Path Dependency* — зависимости от предшествующего развития. Впрочем, оба этих термина многие используют как синонимичные. Сам П. Дэвид дал *Path Dependency* следующее определение: «Зависимость от предшествующего развития — это такая последовательность экономических изменений, при которой важное влияние на возможный результат могут оказать отдаленные события прошлого, причем скорее случайные события, чем систематические закономерности» (David, 1985, p. 332).

В истории развития институтов проявления зависимости от предшествующего развития можно проследить на двух уровнях: во-первых, на уровне *отдельных институтов* (правовых, организационных,

политических и т.д.), а во-вторых, на уровне *институциональных систем* (особенно национальных экономических систем).

Собственно говоря, любой пример технологических *QWERTY*-эффектов обязательно имеет институциональную подоплеку, ведь конкурируют вовсе не технологии, а те организации, которые их применяют (Норт, 1990, с. 122). Поэтому, скажем, победа стандарта узкой колеи над более эффективным стандартом широкой колеи — это победа менее эффективной (по крайней мере по данному критерию) фирмы Д. Стефенсона над его более эффективными, но менее удачливыми конкурентами.

Есть много исследований, посвященных зависимости от предшествующего развития и в формировании самих институтов.

Барри Айхенгрин, например, проанализировал (Eichengreen, 1996) зависимость от предшествующего развития при формировании международных денежно-кредитных систем, одной из которой был классический золотой стандарт конца XIX в. Эта зависимость была основана на выгодах (сетевых экстерналиях) для различных стран от принятия такой денежно-кредитной системы, которая была бы общей для всех стран, включенных в мировое хозяйство.

Другой интересный случай зависимости от предшествующего развития на уровне отдельной группы институтов демонстрируют Рафаэль Ла Порта и другие последователи «новой сравнительной экономической теории» (*new comparative economics*). Сравнивая влияние систем общего (англосаксонского) и гражданского (романо-германского) права на хозяйственную жизнь, они убедительно доказывают превосходство традиции общего права, которая заметно лучше защищает права собственности (например, права мелких акционеров от злоупотреблений менеджеров корпораций) (см., например: La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, Vishny, 1998). Однако эти преимущества отнюдь не приводят к переходу стран с традициями гражданского права (в их число входит и Россия) на систему общего права. Важный вклад в экономическую теорию институциональных изменений внес российский экономист Виктор Меерович Полтерович, рассмотревший на примере постсоветской экономики такую любопытную разновидность зависимости от предшествующего развития, как «институциональная ловушка» (Полтерович, 1999; см. также введение). Речь идет о том, что среди путей развития возможны варианты, которые более выгодны в краткосрочном периоде, однако в долгосрочном они не просто менее эффективны, чем альтернативные (зарубежные экономисты рассматривали именно такие случаи), но делают дальнейшее развитие просто невозможным<sup>20</sup>. Именно таков был, в частности, эффект от развития в постсоветской России бартерной экономики: она позволяла временно решать проблемы малоэффективных предприятий, однако делала невозможной сколько-нибудь решительную реструктуризацию производства. В результате экономика страны находилась до 1999 г. в состоянии кризиса и депрессии.

Сравнительный анализ национальных экономических систем имеет в экономической науке довольно давнюю традицию. Можно вспомнить хотя бы хрестоматийные для отечественных обществоведов старшего поколения работы В.И. Ленина (например, написанную в 1908 г. «Аграрную программу

социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов»), посвященные сравнению прусского (юнкерского) и американского (фермерского) путей развития капитализма в сельском хозяйстве (см., например: Ленин В.И., т. 16, с. 215—219). Он подчеркивал, что главным тормозом развития капитализма в России является именно феодальное наследие, которое проявляется не только в помещичьем землевладении, но и в общинном землепользовании.

В зарубежной историко-экономической науке выделение в качестве объекта анализа не отдельных стран, а групп государств с одинаковым институциональным наследием также имеет давнюю традицию. Здесь можно вспомнить, например, теорию эшелонов развития капитализма по А. Гершенкرونу (Hershenkron, 1962, p. 353—364; см. также главу II. 1, § 2.5), согласно которой путь развития страны «программируется» на века вперед тем, смогла ли она прийти к капитализму самостоятельно (первый эшелон), или же внешнее влияние инициировало внутренние источники саморазвития (второй эшелон), либо капитализм остается «присадкой извне» (третий эшелон). В этом же ключе работал и Д. Норт, указывая на глубокие и труднопреодолимые различия между развитием Латинской Америки, унаследовавшей институты отсталой Испании, и Северной Америки, находившейся под влиянием более передовых английских институтов (Норт, 1997, гл. 12). На высокую зависимость от предшествующего развития единодушно указывают и экономисты-транзитологи, подчеркивая очень разные результаты схожих по методам экономических реформ в Восточной Европе, в постсоветских государствах и в странах Дальнего Востока.

Если в работах о *QWERTY*-эффектах в истории техники часто подчеркивается случайность и конъюнктурность выбора победившей технологии, то у исследователей *Path Dependency* в развитии институтов этот мотив звучит гораздо слабее. Видимо, выбор институтов в отличие от выбора технологий носит более коллективный характер, а потому он более закономерен<sup>21</sup>. Оба направления родственны тем, что исследователи подчеркивают высокую инерцию общественного развития, которая делает невозможным быстрое изменение как используемых технологий, так и господствующих норм.

В нашей стране историко-экономические исследования, выполненные в парадигме зависимости от предшествующего развития, пока крайне немногочисленны, поскольку сама концепция *Path Dependency* российским обществоведам, за редким исключением, пока не известна. Впрочем, справедливости ради надо назвать некоторые опыты контрфактического моделирования, в которых, используя предложенный Р. Фогелем подход, сравнивают эффективность состоявшегося и несостоявшихся вариантов институционального развития.

В одной из последних работ И.Д. Ковальченко (Ковальченко, 1991) смоделированы ситуации, как развивалась бы дифференциация крестьянских хозяйств России, если бы, с одной стороны, реформ П.А. Столыпина не было вообще, а с другой стороны, если бы они продолжались до 1920-х годов. Тем самым Ковальченко взял исследуемую институциональную реформу (разрушение крестьянской общины) в «вилку»: в одном сценарии он вообще

исключил ее из истории, а в другом — дал развиваться в режиме максимального благоприятствования. Для построения ретропрогнозов использовался метод Марковых цепей, когда по начальным данным о структуре объекта, зная влияющие на ее изменение факторы, рассчитывают состояние объекта через какой-либо промежуток времени.

Расчеты И.Д. Ковальченко показали (табл. 1.6.3), что без столыпинских реформ в России бедных крестьян было бы меньше, а средних и богатых больше. Следовательно, реформы Столыпина не помогали (как утверждали его сторонники) бороться с крестьянской бедностью, а, наоборот, мешали.

К сожалению, уход из жизни И.Д. Ковальченко помешал ему продолжить ретропрогностические исследования. Однако среди

Таблица 1.6.3

**СООТНОШЕНИЕ типов КРЕСТЬЯНСКИХ хозяйств в  
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ, %**

| Типы<br>крестьянски<br>х хозяйств | Доля хозяйств   |                                    |  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|
|                                   | в 1912 г.,<br>если бы не было<br>столыпинских<br>реформ | в 1912 г.<br>в реальной<br>истории | в начале<br>1920-х гг., если<br>бы столыпинские<br>реформы<br>продолжались |
| Бедные                            | 60  | 64                                 | 66   |
| Средние                           | 32  | 30                                 | 28   |
| Зажиточные                        | 8   | 6                                  | 6  |

его учеников есть те, кто тоже занимается альтернативной историей. В качестве примера назовем Л.И. Бородкина и М.А. Свищева, которые попробовали повторить исследование своего учителя, но на материале Советской России 1920-х годов.

Используя все ту же методику Марковых цепей, Л.И. Бородкин и М.А. Свищев сделали ретропрогноз (Бородкин, Свищев, 1992, с. 348—365), как развивалась бы социальная дифференциация в советской деревне, если бы нэповские реформы не были прерваны «сталинской революцией» — насильственной коллективизацией.

Их расчеты показали (табл. 1.6.4), что большевистские страхи о неминуемом развитии в деревне «мелкобуржуазного» капитализма были сильно преувеличенными. Доля богатых крестьян росла бы при «долгом нэпе» довольно незначительно, а вот бедных хозяйств становилось бы заметно меньше за счет роста середняков. При таком сценарии за 1924—1940 гг. посевы возросли бы примерно на 70%, а поголовье скота — на 50%. В реальной истории, увы, «великий перелом» привел к сильному спаду аграрного производства; поголовье скота, например, было восстановлено только в 1950-е годы. Следовательно, сталинскую реформу институтов собственности, как и столыпинскую, следует признать неудачной.

Таким образом, применение теории зависимости от предшествующего развития к экономической истории институтов позволяет видеть их альтернативные издержки и тем самым делать выводы об эффективности выбора, сделанного в бифуркационных точках социально-экономического развития

**Таблица 1.6.4**

**СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ КРЕСТЬЯНСКИХ хозяйств В  
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ, %**

| Типы крестьянских хозяйств | Доля хозяйств         |                     |  |                     |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|
|                            | в 1924 г., фактически |                     | в 1940 г., если бы не было коллективизации |                     |
|                            | производящие районы   | потребляющие районы | производящие районы                        | потребляющие районы |
| Бедные                     | 29                    | 60                  | 19   | 39                  |
| Средние                    | 68                    | 40                  | 76   | 60                  |
| Зажиточные                 | 3                     | 0                   | 5  | 1                   |

**2.4. Технические и институциональные причины зависимости от предшествующего развития**

В зарубежной литературе, посвященной *Path Dependency*, подчеркивается множественность порождающих его факторов (см., например: Puffert, 2003). Если первооткрыватели *QWERTY-эффектов* обращали основное внимание, в традициях неоклассики, на технические причины этого явления, то Д. Норт и другие институционалисты — на причины социальные, связанные с деятельностью людей.

П. Дэвид, основоположник теории *Path Dependency*, указывал прежде всего на *техническую взаимозависимость*. Системы оборудования (как физический капитал) и навыки работников (как человеческий капитал) образуют единую систему, состоящую из взаимодополняющих элементов, и часто оказывается нельзя качественно обновить ни одного элемента этой системы. Например, на железных дорогах не осталось ни одного винтика со времен первых железных дорог, но остался выбранный Д. Стефен-соном шаблон колеи. Причина в том, что ширина железнодорожного пути и колеса подвижных составов являются элементами одной системы, поэтому когда колея или подвижной состав изнашивались, то их заменяли оборудованием старого стандарта, чтобы железнодорожные колеса подходили к колее, а колея — к колесам. Поскольку на железных дорогах почти никогда не заменяют одновременно всю колею и весь подвижной состав, то изначальный стандарт сохраняется, независимо от срока жизни любой части оборудования. Б. Артур и Д. Норт истолковали этот фактор в институциональном ключе как *эффект координации* — преимущества от

сотрудничества одних экономических агентов с другими. В «железнодорожном» примере в этой связи надо указать на низкие издержки (в том числе транзакционные) для фирм, следующих общепринятым стандартам, и высокие — для фирм- «робинзонов».

Следующий фактор — *рост отдачи от масштаба*. Применение любого стандарта тем выгоднее, чем чаще его применяют. Так, при строительстве новых железных дорог использование старого стандарта колеи облегчает их подключение к старым веткам. Новые железные дороги поэтому почти всегда имеют те же стандарты, что и прежде построенные, даже если инженеры осознают устарелость прежних шаблонов. Аналогичное явление применительно к институтам называют *сетевыми эффектами*. Так, каждая страна могла бы создавать свою специфическую систему права, но это сильно затормозило бы международное разделение труда. Поэтому разные страны унифицируют регулирующие бизнес правовые нормы (например, в рамках сотрудничества по линии Всемирной торговой организации), причем выгоды от этой унификации тем выше, чем больше стран в нее включились. Если даже некоторые из этих норм неоптимальны, то они вытеснят более эффективные нормы, распространенные в небольшом количестве стран.

Наиболее тривиальный, по мнению П. Дэвида, фактор зависимости от предшествующего развития — *долговечность капитального оборудования (квазинеобратимость инвестиций)* — связан с тем, что морально устаревший капитал (как физический, так и человеческий) могут продолжать использовать, поскольку в него сделаны крупные, еще не окупившиеся инвестиции. Продолжительность воздействия этого фактора ограничена сроком физического износа морально устаревшего капитала, который все же когда-то придется списывать. Этот фактор допускает нетривиальное институциональное истолкование, поскольку нормы как социальный капитал также могут морально устаревать. Но поменять его гораздо труднее, чем капитал физический. Формирование личности (первичная социализация) завершается в юности, и в последующие годы адаптация к меняющимся условиям (вторичная социализация) редко качественно меняет усвоенные в юности нормы, ценности, стереотипы и привычки. *Долговечность социального капитала (квазинеобратимость первичной социализации)* выше, чем долговечность капитального оборудования, так как средний срок жизни людей превышает срок жизни оборудования. Поэтому успехи институциональных инноваций следуют с интервалом примерно в 10—15 лет после благотворных изменений в образовательной системе. Так, «японское чудо» развернулось тогда, когда в бизнес пришло поколение людей, желающих «воевать» в бизнесе, а не повторять Перл-Харбор.

В первоначальных статьях П. Дэвида о *QWERTY*-эффекте его объяснение ограничивалось этими тремя факторами. Б. Артур предложил еще одно объяснение, точнее говоря, уточнил проявление роста отдачи от масштаба. Он обратил внимание на *неравномерность возрастающей отдачи от адаптации*. Дело в том, что когда конкурируют разные технологии/институты, то первоначально более быстрый рост предельной полезности может демонстрировать один вариант, а потом — другой. Но победа на начальных этапах конкуренции делает невозможным

демонстрацию преимуществ альтернативного варианта. Например, когда в начале 1990-х годов в нашей стране конкурировали денежные и бартерные расчеты, то на первых порах большинство фирм выигрывало от бартеризации. Но когда эта институциональная норма стала преобладающей, она буквально «закупорила» возможности реорганизации производства.

В современных исследованиях причин *Path Dependency* все чаще обращают внимание на культурологические факторы — ментальность, образование и общественное согласие<sup>22</sup>. Тем самым институциональная экономическая история сближается с эволюционной экономической теорией, изучающей рутины, обычаи и т.д.

Огромное внимание экономистов к феномену зависимости от предшествующего развития вызвано во многом его взаимосвязью с проблемой «провалов» рынка. Ведь если победа худших стандартов/норм над лучшими связана с «недальновидностью» рынка, то это является очень веским аргументом в пользу государственного регулирования промышленной политики. Защитники рынка, однако, предлагают иную интерпретацию — по их мнению, зависимость от предшествующего развития доказывает «провалы», наоборот, государственного регулирования, а не рынка. История клавиатуры печатающих устройств доказывает «провал» рынка (именно поэтому С. Либовиц и С. Маргулис, «защитники» рынка, яростно оспаривают «миф» о *QWERTY*), история же атомного реактора — «провал» правительства. Вероятно, в основе феномена *Path Dependency* лежат скорее универсальные закономерности социально-экономического развития, чем специфические формы их проявлений в современном рыночном хозяйстве. В таком случае развитие данного направления экономической теории является важным шагом к формированию «пострыночной» экономической науки.

Хотя «новейшая» экономическая история преодолевает ограниченность неоклассической экономики, она сконцентрирована на событиях последних двух веков. Поэтому ученым еще предстоит создать новую целостную парадигму экономической истории

### **§ 3. Экономическая история как глобальная конкуренция институтов**

Особенностью современного этапа развития экономико-исторической науки, развивающейся под доминирующим влиянием новой экономической истории, является превалирование эмпирических исследований над «большой теорией». В результате возникает ситуация, когда большое число интересных и важных исследований частных проблем остаются «осколками мозаики», не складываются в целостную картину исторической эволюции<sup>23</sup>. Ближе всех к созданию новой метатеории подошел Д. Норт, но и его синтез пока не завершен. Эта незавершенность заметна в его сосредоточенности главным образом на истории Нового времени, в отсутствие у него концепции фаз исторического развития. Очевидно, создание новой теории



экономической истории потребует объединения достижений не только «нового», но и «старого» институционализма.

В современной экономической истории как науке можно встретить не менее полудюжины институциональных концепций претендующих на статус «большой теории»:

1) марксистская традиция анализа экономической истории как прогрессивной эволюции производственных отношений, обусловленной развитием производительных сил;

2) идущий от работ М. Вебера и А. Тойнби цивилизационный (хозяйственно-культурный) подход, продолжением которого являются связанные с этносоциологией (Г. Хофстед, Г. Триандис и др.) исследования национальной хозяйственной ментальности<sup>TM</sup> как детерминанты национальных моделей экономики;

3) сформулированная К. Поланьи концепция параллельного развития отношений реципрокности, редистрибуции и торговли как специфических форм обмена в условиях общественного разделения труда;

4) разрабатываемая в трудах институционалистов-социологов (Д. Белл, О. Тоффлер и др.) теория постиндустриального общества, являющаяся во многих отношениях модернизированным вариантом марксистской теории социально-экономического прогресса;

5) разработанный в трудах И. Валлерстайна и Ф. Броделя мир-системный подход, обращающий главное внимание на взаимовлияние и взаимообусловленность развития национальных экономик как элементов единой геоэкономической системы;

6) новая экономическая история Д. Норта, интерпретирующая институты как «правила игры» и рассматривающая прогресс в экономической истории как снижение трансакционных издержек связанная с синергетической парадигмой теория зависимости от предшествующего развития (П. Дэвид, Б. Артур), предполагающая преимущественное внимание к исследованию случайного или сознательного выбора в бифуркационных точках новых стратегий развития.

Есть точка зрения (иногда ее называют «постмодернистской»), согласно которой вообще прошло время всеобъемлющих («больших») теорий, им на смену приходит знание контекстуальное и фрагментарное. На наш взгляд, правильнее говорить не об окончании эпохи «больших» теорий, а о временной паузе между «уходом» одной метатеории и «приходом» другой. Такие паузы заметны в истории науки не реже, чем прямое вытеснение старой теории новой. Например, в XIX в. между осознанием кризиса классической политэкономии и рождением неоклассики прошла довольно длительная пауза (1840—1880-е годы), во время которой на роль альтернативной парадигмы претендовали немецкая историческая школа, марксизм, камералистика и иные теории.

Новая метатеория экономической истории призвана определенным образом синтезировать лучшие идеи всех таких парадигм. Это возможно, поскольку все перечисленные парадигмы основаны на органистической трактовке общества, рассматриваемого не как сумма индивидов, а как

система социальных организаций и социальных норм. Существующие «большие» теории не противоречат, а дополняют друг друга.

Основой такого синтеза, по нашему мнению, может стать *трактовка экономического развития как глобальной конкуренции экономических систем и институтов*, в процессе которой происходит отбор — отчасти осознанный, отчасти стихийный — наиболее эффективных путей социально-экономического развития человечества. В основе этого подхода лежит соединение неoinституционализма Д. Норта с теорией социально-экономических систем, разрабатываемой марксистами и «старыми» институционалистами. Что касается других концептуальных подходов к экономической истории, то их можно ввести в мегатеорию как ее частные компоненты.

### 3.1. Институциональная конкуренция

Технические инновации, которые при ортодоксально марксистских подходах считались главным «мотором» развития общества, в рамках институциональной парадигмы рассматриваются как результат институциональных инноваций, порождающих спрос на новые технологии и создающих условия для их внедрения в хозяйственную практику. Впрочем, возможно и обратное влияние технических

нововведений на экономические институты, которое особенно усиливается в эпоху новейшей истории.

Главным теоретическим принципом нового подхода является тезис о *конкуренции как главном содержании экономической истории*<sup>24</sup>. Эта конкуренция прослеживается в двух аспектах:

- 1) конкуренция институтов («правил игры»);
- 2) конкуренция экономических систем — комплексов институциональных норм.

В процессе конкурентного отбора соревнуются многие нормы и системы, частично субституциональные по отношению друг к другу. В ходе этой конкуренции происходит отбор тех институтов и тех экономических систем, которые наиболее эффективны.

Анализ институциональной конкуренции требует освещения двух основных вопросов:

1. Ради чего ведется конкуренция?
2. Каковы критерии сравнительной эффективности конкурирующих институтов?

Ответ на первый вопрос связан с узловым для современной экономической теории понятием «ограниченности ресурсов». Люди, вовлеченные в ту или иную институциональную систему,

постоянно испытывают нехватку чего-либо (работников, плодородной земли, капиталов, полезных ископаемых и т.д.). Восполнить эту нехватку можно двумя путями — либо «взять у природы» (создавать новые технологии материального производства), либо «взять у других». Под «другими» здесь понимаются как раз представители иной институциональной системы, а «взять» означает либо отнять чужие ресурсы,

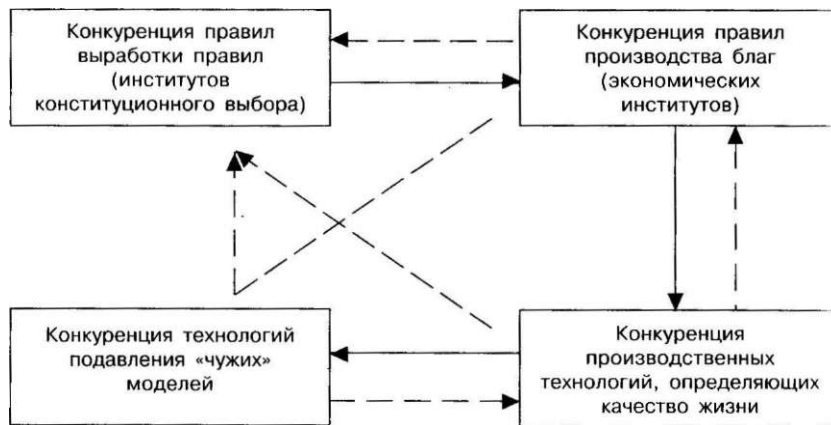
либо заимствовать чужие методы более эффективного использования своих ресурсов.

Институциональную конкуренцию можно, казалось бы, считать экстенсивным путем социально-экономического развития, поскольку она направлена на расширение количества ресурсов, находящихся в распоряжении какой-либо одной институциональной системы, а не на увеличение эффективности их использования в рамках разных систем. Однако именно конкуренция систем заставляет их мобилизовать свои способности по повышению эффективности использования ресурсов. Поэтому без институциональной конкуренции интенсивный путь социально-экономического развития тоже вряд ли возможен. (Отсюда, кстати, вытекает необходимость институционального разнообразия. Если будет господствовать одна-единственная институциональная система, то она в значительной степени потеряет стимулы к совершенствованию.) Таким образом, объективная цель институциональной конкуренции — это расширение сферы действия отдельных видов или отдельных наборов «правил игры».

Ответ на второй вопрос таков: в столкновении разных институтов побеждают те, которым легче подавить конкурентов. Это, конечно, похоже на тавтологию («побеждают те, которые побеждают»), Однако такая тавтология обращает внимание на главный критерий сравнительной эффективности институтов — на их способность противодействовать «чужому». Подавление «чужих» моделей может происходить самым разным образом: либо «экспортом институтов» прямым военным насилием (завоевание Америки в XVI—XIX вв. европейцами), либо демонстрацией преимуществ своей модели и помощью в «импорте институтов» (современная политика США в отношении остального мира)<sup>25</sup>.

Конкуренция технологий подавления (противоборства подавлению) является отражением других уровней конкуренции (рис. 1.6.4). Среди технологий подавления (военных, экономических, идеологических) более сильны те, которые опираются на преимущества в производстве и потреблении (уровне и качестве жизни). «Правы большие батальоны», вооруженные более современным оружием и желающие отстаивать свой образ жизни. Конкуренция уровня и качества жизни, далее, опирается на конкуренцию правил производства экономических благ — на конкуренцию экономических институтов. Высшим уровнем институциональной конкуренции является конкуренция правил совершенствования старых и генерирования новых экономических институтов.

В этой схеме есть, конечно, не только прямые, но и обратные зависимости. Так, появление среди технологий подавления «оружия непрофессионалов» (например, простого и дешевого огнестрельного оружия в XIX в.) ведет к росту конкурентоспособности правил конституционного выбора, поскольку самые широкие слои населения могут весомо настаивать на своем участии в выборах



**Рис. 1.6.4.** Уровни конкуренции региональных (национальных) моделей экономики

Следует подчеркнуть, что конкурентные преимущества на более верхних «этажах» нашей схемы становятся не потенциально возможными, а реальными лишь тогда, когда они влияют на конкурентные преимущества более низких «этажей». Перефразируя классика, можно сказать, что любая институциональная система «лишь тогда чего-нибудь стоит, когда умеет защищаться» и наступать. Если некая страна имеет институциональную систему, обеспечивающую своим приверженцам очень высокий уровень жизни, но не дающую защиты от внешней агрессии, то такая система заведомо не конкурентна в долгосрочном периоде.

Примером является противоборство между Москвой и Новгородом в XIII—XV вв. как альтернативными моделями развития русской цивилизации. С одной стороны, новгородская демократия потенциально являлась более перспективным институтом конституционного выбора, чем авторитаризм московских князей и царей. Аналогично уровень и качество жизни новгородцев были не ниже, а скорее выше, чем у москвичей. Однако во время длительного военного противоборства новгородская демократия вела к разобщению сил и внутренним междоусобицам. В сфере военного потенциала московская военно-служебная система давала растущий эффект от масштаба: чем больше земель присоединяла Москва, тем многочисленнее была ее профессиональная армия. Новгородская же ополченская система никакого эффекта от масштаба не давала, поскольку присоединение новых земель никак не увеличивало численность жителей Господина Великого Новгорода, из числа которых и комплектовалось ополчение. Поэтому история Московского княжества — это история его непрерывного расширения, в то время как территория Новгородской республики оставалась стабильной. В противоборстве с Москвой Новгород мог только обороняться, а такая стратегия делала его поражение лишь вопросом времени.

В том случае, когда силовые возможности разных моделей приблизительно равны, исход их противоборства может быть решен во многом случайными обстоятельствами.

Так, в институциональной конкуренции XIII—XV вв. между Москвой и Литвой (которая тоже являлась претендентом на наследие цивилизации Древней Руси и также применяла поместную систему военной комплектации) поражение Литвы связывают с неудачным

конфессиональным выбором литовских князей. Приняв в конце XIV в. католицизм, они «закрыли» для себя возможность стать «своими» для русских подданных, поскольку вплоть до новейшего времени конфессиональные границы становились и границами «национальных» экономических систем. Вероятно, если бы Ягайло не переметнулся из православия в католичество, он мог бы занять в русской истории место Дмитрия Донского.

Критерий эффективности конкурирующих институтов и систем можно сформулировать и как их способность повышать благосостояние людей — благосостояние в самом широком смысле слова (не только материальное, но и духовное; не только «здесь и сейчас», но и в долгосрочном аспекте). Дело в том, что мобилизационная способность конкурирующих институтов и систем определяется тем, насколько люди могут и желают их отстаивать.

Следует подчеркнуть, что в силу зависимости от предшествующего развития эффективность институтов и систем может заметно различаться в среднесрочном и долгосрочном периодах. Поэтому первоначально побеждавшие в конкуренции нормы и системы могут затем потерять свой конкурентный потенциал и оказаться «институциональной ловушкой».

В силу множественности конкурирующих институтов и систем процесс развития общества является многоуровневым и многолинейным:

- соревнуются разные общественные системы (в частности, в первой половине XX в. — командная индустриальная с рыночной индустриальной);
- соревнуются разные цивилизационные и национальные системы (так, в XX в. внутри командной системы соревновались советская, китайская и восточноевропейская подсистемы);
- соревнуются различные институты внутри цивилизационных и национальных экономических систем (например, в США XX в. шло соревнование между прямыми, кейнсианскими, и косвенными, неоклассическими, методами регулирования экономики).

Важно подчеркнуть, что каждый из институтов развивается не изолировано, а как элемент определенной институциональной системы. Поэтому институциональная конкуренция, как правило, является конкуренцией «пакетов» взаимосвязанных институтов. Если один институциональный «пакет» в целом эффективнее другого, то доминирующими становятся все его компоненты, даже если отдельные институты из предпочтительного «пакета» хуже соответствующих институтов менее конкурентного пакета. Так, во время конкуренции в XIII—XV вв. московской и новгородской моделей русской государственности победила московская модель, поскольку именно она позволяла обеспечивать более высокую обороноспособность. При таком высшем критерии эффективности экономическая и политическая демократия новгородской модели уступили место помещичьей системе и царскому деспотизму.

*Таким образом, экономическая история предстает как последовательность институциональных выборов — выборов траекторий развития, коллективно совершаемых отдельными социальными группами и цивилизациями во взаимодействии друг с другом.*

### 3.2. Институциональный выбор

Институциональный выбор — это такое изменение формальных и неформальных правил, а также способов и эффективности принуждения к исполнению правил и ограничений, когда выбирается какой-либо один предпочтительный вариант из нескольких потенциально возможных. Понятие «институциональный выбор» практически сливается с понятием «институциональной инновации», поскольку вряд ли есть хоть одна социально-экономическая проблема, которую можно решить единственным способом.

Рождение новых институтов и экономических систем может являться «ответом» на «вызов» каких-либо внешних (природных) факторов, но чаще является результатом саморазвития самого общества — конкуренции ранее существовавших институтов. Ф. фон Хайек был глубоко прав, называя конкуренцию «процедурой открытия».

Изменения в формальных правилах (или в механизмах, обеспечивающих их соблюдение) обычно требуют весьма значительных затрат ресурсов, что ограничивает возможности институционального выбора. Экономические субъекты участвуют в институциональном выборе, направляя свои таланты и знания на поиск выгодных возможностей через создание как конечных, так и промежуточных организаций, которые действуют в экономической и политической сферах, обеспечивая требуемые изменения в формальных правилах. Экономические изменения формальных правил могут происходить и довольно быстро, если старые институты внезапно сломаны или временно нейтрализованы (как это бывает в периоды революций или завоеваний). Чаще, однако, эти изменения происходят медленным эволюционным путем

Что же касается изменений в неформальных правилах, то они осуществляются только постепенно. Темп изменений здесь совсем иной, более медленный, большое значение имеют культура (как механизм передачи ценностей и норм от одного поколения к другому), случай и естественный отбор

Важную роль в институциональных изменениях играют организации. Организация в самом широком смысле слова — это группа людей, объединенная стремлением сообща достичь какой-либо цели. Преследуя цель максимизации дохода, организации и их руководители формируют направление институциональных изменений (рис. 1.6.5). Существуют две основные стратегии изменений: одна реализуется в рамках имеющегося набора ограничений, другая требует изменения самих ограничений



**Рис. 1.6.5. Взаимосвязь институтов и организаций**

Процесс изменений обычно включает как организационные эксперименты, так и устранение организационных ошибок. Проблема, однако, заключается в том, в какой степени общество допускает эти организационные изменения, в какой степени оно заинтересовано в устранении организационных ошибок.

Долгосрочные экономические изменения являются, как правило, результатом накопления множества краткосрочных решений политических и экономических агентов. Выбор, который делают агенты, отражает их субъективное представление об окружающем мире. Поэтому степень соответствия между результатами и намерениями зависит от того, насколько верны эти представления. Поскольку модели поведения людей отражают идеи, идеологию, убеждения (которые в лучшем случае лишь частично подвергаются исправлению и улучшению обратной связью), то последствия сознательно принятых решений часто являются не только неопределенными, но и непредсказуемыми. Поэтому исторический процесс всегда допускает альтернативность, хотя и в разной мере в различные периоды.

Идеология в широком смысле слова является важным механизмом координации краткосрочных и долгосрочных приоритетов людей. Если бы не было идеологических мотивов, люди делали бы выбор с ориентацией только на удовлетворение своих личных краткосрочных интересов. Это приводило бы к умножению «институциональных ловушек» типа «рак, лебедь и щука»: каждый отстаивает свой интерес, в результате сложения импульсов «воз» не двигается вообще или двигается туда, куда никому не надо. Любая идеологическая система (даже либерально-индивидуалистическая) предлагает руководствоваться некими мотивами, которые отражают не столько личный опыт отдельных индивидов, сколько опыт социальных групп и организаций. Поэтому институциональный выбор проходит в атмосфере соперничества идеологий, которые сами являются одним из институтов конституционного выбора.

Следует подчеркнуть, что институциональный выбор категорически не сводим к метафоре «рынок институтов». Механизм выбора может быть совсем не рыночным (не основанным на добровольном согласии участников соглашения). Более того, рынок как институциональная система, возникшая в Новое время, сам явился результатом нерыночного выбора, на что справедливо указывал К. Поланьи (Поланьи, 2002).

Хотя саморегулирующийся рынок неоклассики считают «естественной формой» общественных отношений, Поланьи справедливо указал на естественность, наоборот, представлений об общественном консенсусе, когда более «удачливые» помогают «неудачникам». Рынок, освобожденный от государственного и корпоративного регулирования, стал возможным в результате мощного интеллектуального движения Нового времени, Просвещения, пропагандирующего образ «сильного», самостоятельного человека — *himselfmaidman*. Но век «чистого капитализма» оказался очень недолгим. В Великобритании, как на фактах доказывал Поланьи, полного демонтажа остатков государственного регулирования меркантилистской эпохи удалось добиться лишь к 1830-м годам, а уже в 1860-е началось «коллективистское» контрдвижение. Парадокс в том, что «экономика *laissez-faire* была продуктом

сознательной государственной политики, между тем последующие ограничения принципа *laissez-faire* начались совершенно стихийным образом» (Поланьи, 2002, с. 158). Сознательно сконструированная чисто либеральная экономика просуществовала не более одного поколения, а затем экономическому либерализму пришлось «потесниться» в пользу принципов централизованного регулирования.

Институциональный выбор имеет иерархическую структуру, отражающую иерархию уровней институциональной конкуренции: выбор отдельных экономических институтов зависит от предварительного выбора институтов конституционного выбора и сам оказывает определяющее воздействие на выбор производственных технологий. В качестве иллюстрации можно вспомнить хотя бы концепцию М. Вебера, согласно которой развитие частного предпринимательства в некоторых странах Западной Европы Нового времени стало возможным благодаря сделанному в эпоху позднего средневековья выбору протестантизма как идеологии, поощряющей индивидуалистическую борьбу за личное преуспеяние.

Отбор более совершенных институтов и экономических систем может происходить разными способами: как стихийно (неосознанно), так и сознательно; с применением насилия (менее конкурентные институты уничтожаются в ходе революций, отсталые системы гибнут в войнах с более передовыми) или мирным путем (в процессе экономических реформ, экспорта институтов и миграции ресурсов). На ранних фазах истории доминирует стихийный и насильственный конкурентный отбор, позже начинает преобладать сознательный и мирный выбор. По аналогии с изучаемой теорией общественного выбора проблемой выбора правил принятия решений можно говорить о конкуренции способов отбора институтов как о высшем уровне институциональной конкуренции в экономической истории.

Взгляд на историю общества как на процесс выбора позволяет преодолеть «обезличенность», присущую почти всем «большим теориям» экономической истории. Предлагаемый нами подход позволяет видеть не только те процессы, где «каплей льешься с массами», но и различать лица тех, кто «сдвигая камень, рождает лавину» (как Мартин Лютер, Генри Форд, Владимир Ульянов (Ленин), Джон Кейнс...). Поскольку процесс институционального выбора многоаспектен, то в роли «бабочки Брэдбери» может оказаться любой из нас.



## Примечания

<sup>1</sup> Условной датой рождения нового направления считают 1957 г., когда А. Конрад и Дж. Мейер выступили на научной конференции Ассоциации экономической истории с сенсационным докладом об эффективности рабовладельческой экономики американского Юга (Conrad, Meyer, 1958).

<sup>2</sup> С развитием клиометрики — новой экономической истории можно ознакомиться по публикациям: Полетаев, 1989; Уильямсон, 1996; Ломова, 1997; Ломова, 1997а; Бородкин, 1998; Goldin, 1995; North, 1997; Greif, 1997).

<sup>3</sup> В СССР данное направление клиометрики, связанное с преимущественным вниманием к корреляции между климатическими и социальными сдвигами, было подхвачено Л.Н. Гумилевым (см., например: Гумилев, 1966), а затем, уже в постсоветской России, продолжено школой социоестественной истории во главе с Э.С. Кульпиным.

<sup>4</sup> Хотя по поводу теории длинных волн (не только кондратьевских) есть большое количество работ как за рубежом, так и в России (с 1980-х годов), она по-прежнему остается дискуссионной. Одни ученые (как Г. Франк) находят длинные волны и в первобытной истории, другие (как С. Соломоу) сомневаются даже в реальности кондратьевских циклов последних столетий. См.: (Полетаев, Савельева, 1993; Solomou, 1987; Frank, 1992).

<sup>5</sup> Программой работы, пропагандирующей в России возможности математического анализа первичных исторических данных с целью выявления скрытой информации, стала его книга «Методы исторического анализа» (Ковальченко, 1987). Одно из основных направлений историко-математических исследований И.Д. Ковальченко и его коллег — изучение закономерностей аграрного сектора экономики России Нового времени. Путем изучения долгосрочной динамики цен они доказали, что в дореволюционной России уже сформировался относительно единый рынок основных сельскохозяйственных продуктов, но рынки капитальных ресурсов (рабочей силы и особенно земли) развивались гораздо медленнее (см., например: Ковальченко, Милов, 1974). По инициативе И.Д. Ковальченко с конца 1970-х годов проходили российско-американские симпозиумы историков клиометрической специализации. Есть, к сожалению, и еще одна отечественная версия количественной истории, самая популярная среди «широкой публики», но вызывающая осуждение многих ученых и только дискредитирующая в их глазах репутацию количественного исторического анализа. Речь идет о паранаучной «новой хронологии» А.Т. Фоменко, тоже основанной во многом именно на количественных методах обработки исторических данных (например, на «династических параллелизмах»). Давно и убедительно доказано, что «новая хронология» связана не только с

методологически ошибочным выбором объектов историко-математического анализа, но и с фальсификацией самого математического анализа, когда решение подгоняется под заранее сформулированный результат. См., например: История и антиистория, 2001.

<sup>6</sup> Характерно название одной из его программных статей — «Регуляризация экономической истории с экономической теорией» (Fogel, 1965).

<sup>7</sup> «Новая экономическая история базируется на двух краеугольных камнях — неоклассической экономической теории и количественных методах» (North, 1977, p. 188).

<sup>8</sup> См., например, статьи из леворадикального *Journal of World-System Research*, посвященные количественному анализу роста разрыва между ядром и периферией во второй половине XX в. (Beer, Boswell, 2002; Bergesen, Bata, 2002).

<sup>9</sup> Характерен в этом отношении выдвигаемый Н. Крафтсом тезис, что «экономическая история — просто прикладная эконометрия прошлого» (Крафтс, 2002, т. 2, с. 992).

<sup>10</sup> Хотя квантитативная история уже давно развивается во многих странах мира (помимо американской новой экономической истории широко известны освоившая количественные методы французская школа «Анналов» и российская школа И.Д. Ковальченко), но использование экономической теории при изучении экономической истории и в наши дни остается почти исключительно прерогативой историков США и Великобритании. Поэтому вполне правомерно обозначать основные направления новой экономической истории именами американских ученых — лидеров этих направлений.

<sup>11</sup> Первыми, кто еще в 1950-е годы использовал клиометрические методы для изучения экономики американского рабовладельческого Юга, считают А. Конрада и Дж. Мейера, пионеров новой экономической истории (см.: Conrad, Meyer, 1964).

<sup>12</sup> Новым Югом называли присоединенные уже в XIX в. штаты Луизиана, Техас, Миссури и Арканзас, отличая их от штатов Старого Юга (Северная и Южная Каролина, Алабама, Джорджия и др.).

<sup>13</sup> Кстати, вывод клиометриков о преимущественно капиталистическом характере экономики американского рабства совпадает с мнением К.

Маркса: «...здесь перед нами капиталисты, строящие свое хозяйство на рабском труде негров. Способ производства, вводимый ими, не возник из рабства, а прививается ему» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. II. С. 329).

<sup>14</sup> Даже в «Третьей волне» Э. Тоффлера (1980) Первая волна, «сельскохозяйственная революция» (это все та же произошедшая 10 тыс. лет назад неолитическая революция), практически выведена за рамки исследования. (Тоффлер, 1999, с. 38—39). Прочие представители «постиндустриальной теории» вообще фактически игнорируют все, что происходило до промышленной революции.

<sup>15</sup> Сам Д. Норт признал это предельно четко: «"Клиометрическая" (описательная) экономическая история фактически «вращается» вокруг институтов, и если за изложение берутся самые опытные специалисты, то она (история) предстает перед нами как континуум и последовательность институциональных изменений, т.е. в эволюционном виде» (Норт, 1997, с. 167).

<sup>16</sup> Строго говоря, такой упрощенный перевод не совсем правилен, поскольку он чреват упрощением сущности явления. Все в мире зависит от прошлого в том смысле, что ничто ни возникает из ничего. Смысл теории *Path Dependency* в том, что возможности выбора, который делается «здесь и сейчас», жестко детерминирован выбором, сделанным «где-то и когда-то раньше».

<sup>17</sup> Сам термин «*lock-in*» встречается уже в изначальных статьях П. Дэвида.

<sup>18</sup> Отражением широкой популярности этого нового подхода к экономической истории стало, например, мнение Пола Кругмана, профессора Массачусетского технологического института, который писал, что «и поколение спустя экономическая теория *QWERTY* все еще будет жизненно важной частью интеллектуальной традиции» (Krugman, 1994).

<sup>19</sup> С. Марголис и С. Либовиц в своей энциклопедической статье о *Path Dependency* четко указывают, что «зависимость от предшествующего развития — это идея, которая пришла в экономическую теорию от интеллектуальных движений, возникших в другой сфере. В физике и математике эти идеи связаны с теорией хаоса» (Margolis, Liebowitz, 1998). См. также: (Бородкин, 2003).

<sup>20</sup> Сам В.М. Полтерович писал, что в его работе «сделана попытка использовать идеи Артура и Норта для описания общей схемы формирования неэффективных устойчивых институтов, называемых здесь

институциональными ловушками». В другом месте своей статьи он прямо приравнивал «институциональные ловушки» к эффекту блокировки. Сравнение содержания его работы с трудами зарубежных специалистов по *Path Dependency* показывает, однако, что В.М. Полтерович открыл именно специфическую разновидность *lock-in*, заметно отличающуюся от тех, которые ранее привлекли внимание Б. Артура и Д. Норта.

<sup>21</sup> Возможно, впрочем, и иное объяснение — смоделировать альтернативный вариант институциональной истории психологически труднее, чем представить иной вариант развития технологии. Достаточно обратиться к альтернативной истории как жанру научной фантастики: писатели «изобрели» паропанк (альтернативную историю мира, где нет бензиновых двигателей), но в конструировании альтернативных институтов не могут придумать ничего оригинальнее продления или сокращения «сроков жизни» фашизма, коммунизма и т.д.

<sup>22</sup> Культура — это передача путем обучения и имитации от одного поколения к другому знаний, ценностей и других факторов, влияющих на поведение (Boyd, Richerson, 1985, p. 2). За рубежом современная институциональная традиция изучения культурных изменений связана прежде всего с «экономической теорией знаний» (см., например: Мокуг, 2000). В отечественном обществоведении заслуга привлечения внимания к культуре как важнейшему фактору экономических изменений принадлежит Я.И. Кузьминову (см., например: Кузьминов, 1992).

<sup>23</sup> Н. Крафтс прямо признает «неудачи попыток сколько-нибудь полно использовать потенциал экономической науки в исторических исследованиях, и наоборот» (Крафтс, 2002, т. 2, с. 995).

<sup>24</sup> При формулировании концепции конкуренции как механизма исторического развития авторы опираются не только на ранее перечисленные теории исторического развития, но и на идеи «конкуренции как процедуры открытия», предложенные Ф. фон Хайеком (Хайек, 1989).

<sup>25</sup> Подробнее об импорте институтов см.: Олейник А. Издержки и перспективы реформ в России: институциональный подход // *Мировая экономика и международные отношения*. № 12. 1997. С. 25-36; № 1. 1998. С. 18-27. - *Прим. ред*